

Н.П. Карабчевски

Что глаза мои видели

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
Н11

Н11 **Н.П. Карабчевски**
Что глаза мои видели / Н.П. Карабчевски – М.: Книга по Требованию, 2014. –
167 с.

ISBN 978-5-517-83572-7

Что глаза мои видели.

ISBN 978-5-517-83572-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2014

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2014

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

Судя по сохранившимся двумъ портретамъ покойнаго отца, онъ былъ видный, бравый каваллеристъ. Мать, которая вышла за него замужъ по страстной любви, увѣряла, что онъ былъ „просто красавецъ“.

На одномъ портретѣ (акварель) онъ изображенъ на своемъ бѣломъ, арабской крови, „Алмазъ“, въ полной парадной формѣ своего полка. На другомъ, маломъ, рисованномъ на слоновой кости, онъ изображенъ только по поясъ. По отзыву матери, этотъ особенно разительно передалъ сходство. Здѣсь, рядомъ съ бѣлыми, во всю груди, лацканами его мундира, онъ выглядитъ жгучимъ брюнетомъ, съ черными, какъ воронье крыло, опущенными внизъ усами, небольшими, по тогдашней модѣ, бачками и чернымъ какъ смоль, слегка вьющимся кокомъ, надъ высокимъ смугловатымъ лбомъ.

Позднѣе, родной братъ покойнаго, Владиміръ Михайловичъ Карабчевскій, утверждалъ и объяснялъ мнѣ, что родъ Карабчевскихъ — турецкаго происхожденія. У него была даже какая-то печатная брошюрка, семейная реликвія, содержащая въ себѣ соотвѣтственныя свѣдѣнія. Во время войнъ при Екатеринѣ, при взятіи Очакова, былъ плѣненъ мальчикъ-турченочъ, родители котораго были убиты. Его повезъ съ собою въ Петербургъ какой-то генераль, тамъ его отдали въ военный корпусъ и дали фамилію отъ „Кара“, что значить черный. Онъ могъ быть дѣдомъ моего отца и, стало быть, моимъ прадѣдомъ. Весь родъ Карабчевскихъ, вплоть до меня, служилъ въ военной службѣ, преимущественно въ каваллеріи.

Великолѣпные, каріе глаза отца, вмѣстѣ съ спшеватымъ отливомъ ихъ бѣлковъ и красиво загнутыми рѣсницами,¹ цѣликомъ унаслѣдовала сестра Ольга, которая, въ свое время, считалась въ ряду красивѣйшихъ дѣвушекъ (или по тогдашнему, — „выѣзжающихъ барышень“), города Николаева, который въ то время, какъ разъ, славился своими красавицами.

Изъ формулярнаго служебнаго списка покойнаго отца, который и сейчасъ у меня цѣль, я знаю, что образованіе онъ получилъ „домашнее“, причемъ въ той-же графѣ, почему-то, особо обозначено: „арифметику знаетъ“. Въ полкъ онъ вступилъ юнкеромъ, довольно поздно, такъ какъ пробовалъ раньше какую-то штатскую службу. Въ военной онъ подвигался очень быстро; очевидно нашелъ свое призваніе. Полковникомъ, и уже полковымъ командиромъ, былъ, когда ему едва стукнуло сорокъ лѣтъ.

Послѣ знаменитаго Чугуевского смотря, на которомъ передъ Николаемъ Павловичемъ парадировала преимущественно ка-

валлерія, отецъ удостоился особой, занесенной въ его формуляры, Высочайшей благодарности. Предрекали, что слѣдующей для него наградой будутъ вензеля и флигель-адъютантскій аксельбантъ; но рокъ судилъ иначе. Именно съ этого смотра, предшествуемаго безконечными ученіями и маневрами, онъ, по словамъ матери, вторично жестоко простудившись, сталъ хворать, но ни за что не хотѣлъ оставить службы и перемогался, пока не слегъ совсѣмъ.

Умеръ онъ на 43-мъ году жизни тамъ же въ Кривомъ Озерѣ, гдѣ стоялъ его полкъ. Тамъ и похороненъ близъ самой церкви.

Отъ какой именно болѣзни онъ угасъ, мнѣ въ точности не удалось узнать.

По этому предмету показанія матери и дяди Всеволода (или дяди „Всева“, какъ мы его съ сестрой любовно называли, и о которомъ не разъ еще я вспомню), діаметрально расходились и даже бывали предметомъ настойчивыхъ пререканій.

Мать утверждала, что отецъ умеръ, не уберегшись отъ вторичной простуды, которая „бросилась на легкія“, дядя-же Всеволодъ (маминъ единоутробный братъ), очень дружившій съ покойнымъ, завѣрялъ, что онъ погибъ отъ какой-то „лихорадки“, вывезенной имъ изъ Венгріи, своевременно не понятой врачами.

Въ графѣ формулярнаго списка покойнаго отца съ столбскою краткостью обозначено: умеръ „отъ кашля“.

Изъ нѣкоторыхъ отрывочныхъ замѣчаній бабушки, при воспоминаніяхъ о покойномъ, я заключалъ, что она была не виолнѣ довольна бракомъ моеи матери. Въ Николаевѣ, гдѣ царилъ Черноморскій флотъ, каваллерія не могла быть въ особой чести, притомъ-же, какъ я убѣдился изъ формуляра отца, онъ всего на всего владѣлъ тремя стами десятинами земли, съ соотвѣтствующимъ количествомъ „крѣпостныхъ душъ“, бабушка-же Евфросинія Ивановна была владѣлицей трехъ большихъ подгородныхъ имѣній, обширнаго дома съ флигелями въ центрѣ Николаева и вообще считалась большою „особою“ не только въ городѣ, но и по губерніи. Черезъ двухъ своихъ дочерей, сыновей, племянницъ и внучекъ она перероднилась со всѣмъ городомъ и пришлый каваллеристъ, мелкопомѣстный помѣщикъ, случайно задержавшійся со своимъ полкомъ въ Николаевѣ, не представлялся слишкомъ завидной для ея любимой дочери партіей.

Именно по настоянію бабушки мать оставалась въ Николаевѣ, когда отецъ получилъ полкъ въ „Кривомъ Озерѣ“. Ей былъ отведенъ на постоянное житье весь „наличный флигель“

т. е. домъ, также выходящій на Спасскую улицу, по фасаду „большого дома“, въ которомъ жила сама „старая барыня“ т. е. бабушка.

Оставшейся молодою вдовою, матери не разъ, по понятіямъ бабушки, представлялись „прекрасныя партіи“ и она очень склоняла ее выйти вторично замужъ; но, мать, — трижды будь благословенна ея память! — изъ любви къ дѣтямъ, не рѣшилася дать имъ отчима и не стала вить новаго гнѣзда, оберегая прежнее, осиротѣлое.

Мать свою я любилъ безконечно.

Величайшимъ въ раннемъ дѣтствѣ было для меня счастьемъ забраться къ ней за спину, когда она по вечерамъ читала, или выпивала, сидя у лампы, на своемъ „вольтеровскомъ“ креслѣ, и играть съ завитками ея волосъ у шеи и цѣловать ихъ. Иногда я тутъ-же и засыпалъ, свернувшись клубочкомъ, или притворялся спящимъ, потому что тогда она сама уносила меня въ кроватку и помогала раздѣвать меня. Я обнималъ ея шею и долго не отпускалъ отъ себя.

Я былъ большимъ „плаксою“. Безчисленные мои кузины, носившія меня на рукахъ, не напрасно утверждали, что у меня „глаза на мокромъ мѣстѣ“. Но это было не отъ капризовъ, а отъ чрезмѣрной впечатлительности.

Мать любила общество, ѣздила на балы и вечера, но это повторялось не слишкомъ часто. Эти ея выѣзды были для меня одновременно и большимъ блаженствомъ и большой мукой. Мы съ сестрой всегда присутствовали при ея туалетѣ въ эти вечера, усаживались въ креслахъ съ двухъ сторонъ ея туалетнаго зеркала. Какую она мнѣ представлялась тогда красавицею съ открытой шеей и округлыми матовыми плечами, въ изумрудномъ ожерельи, такихъ-же серьгахъ и фермуарѣ, отливавшихъ бриллиантовыми искрами. Я понимаю теперь, почему изъ всѣхъ драгоценныхъ камней изумрудъ до сихъ поръ мнѣ особливо любъ.

Но разъ туалетъ заканчивался, я начиналъ сперва только украдкою, „какъ-бы сморкаться“, а затѣмъ, при разставаніи, неудержимо всхлипывалъ. Долго, и послѣ ея ухода, я не могъ успокоиться.

Кромѣ няни и горничныхъ, съ нами, въ этихъ случаяхъ, всегда оставался кто-нибудь изъ взрослыхъ кузинъ, обожавшихъ „тетю Любу“ т. е. мою мать и прибѣгавшихъ по сосѣдству развлечь и забавить несправимаго „плаксу“.

Удавалось это имъ не сразу, но, разъ удавалось, начиналася шумная бѣготня по всему дому и Марфѣ Мартемьяновнѣ, послѣ

заправокъ лампадъ въ дѣтской, удавалось не сразу залучить насъ къ постелямъ.

Обыкновенно ей приходилось прибѣгать къ помощи шустрой Матрешы, горничной, которой предстояло изловить меня и нести на рукахъ въ дѣтскую.

Матреша была милая, отъ нея пахло яблоками, такъ какъ въ комнатѣ, гдѣ она спала, на полкахъ хранились яблоки и большія стеклянныя банки съ черносливомъ. Я обнималъ ея шею и мнѣ было уютно и пріятно на ея упругой груди.

Младшая изъ моихъ кузинъ, Леля, особенно часто корившая меня за „глаза на мокромъ мѣстѣ“ однажды вздумала унять меня нарядившись „старой жидовкой“, которая должна унести меня, вмѣстѣ съ ворохомъ стараго платья, если я не уймуся.

Хотя она очень худо гримировалась „подъ жидовку“ и я отлично различалъ, что подъ платкомъ, накинутомъ ею на голову, несмотря на то, что и волосы она себѣ растрепала, была все та же Леля, а не жидовка, тѣмъ не менѣе отчаянію и страху моему не было конца. Я потомъ долго не могъ уснуть, такъ какъ мнѣ видѣлась уже настоящая „старая жидовка“ съ большимъ узломъ, куда она свободно могла меня запихнуть.

На другой день „выдумщицѣ“ Лелѣ очень досталось и отъ „тети Любы“, и отъ Марфы Мартемьяновны и она была совсѣмъ не рада своей затѣѣ.

„Женское царство“ окружало меня въ дѣтствѣ.

Я былъ въ то время единственный „мужчина“ въ домѣ.

Дядя Всеволодъ, который впоследствии былъ долго неразлученъ со мной, въ это время служилъ еще въ Петербургѣ.

Бабушкинъ сынъ отъ перваго ея брака, Всеволодъ Дмитріевичъ Кузнецовъ, былъ флотскимъ офицеромъ. По его собственному признанію, онъ былъ плохимъ морякомъ, такъ какъ жестоко страдалъ отъ морской болѣзни. Уже во время мичманскаго кругосвѣтнаго плаванія его вынуждены были, гдѣ-то за границей, „списать на берегъ“, такъ какъ онъ не только не свикался съ моремъ, но каждая новая качка становилась для него смертельной угрозой.

Благодаря этому ему стали давать береговья мѣста, а въ данное время онъ состоялъ офицеромъ Морского Корпуса въ Петербургѣ.

Остальной морской элементъ обширной бабушкиной семьи, такъ или иначе прикосновенный къ флоту, былъ либо въ Кронштадтѣ, либо въ Севастополѣ, гдѣ вскорѣ должна была начаться знаменитая Севастопольская страда.

Въ качествѣ единственнаго наличнаго представителя мужского элемента въ семьѣ, балуемаго женскимъ поломъ, быть, такимъ образомъ, я и потому не трудно себѣ представить, сколько женской любовной ласки выпало на мою долю съ первыхъ дней моего существованія.

Однако, съ кормилицей у меня, какъ мнѣ рассказали потомъ, вышло огромное недоразумѣніе.

На восьмомъ мѣсяцѣ моего кормленія она неожиданно скрылась, „какъ въ воду канула“.

Съ вечера пропала, только ее и видѣли.

Воображаю, какой переполохъ поднялся съ моимъ кормленіемъ.

Искажался я, вѣроятно, неистово, такъ какъ, за неимѣніемъ подъ рукой другой кормилицы, пришлось посадить меня „на рожок“.

„Проклятая, чуть было не уморила ребенка“, — говаривала и долго спустя и не разъ Марфа Мартемьяновна.

„Проклятую“ такъ и не розыскали, хотя всѣ мѣры къ тому были приняты.

Были отъ полиціи и „розыскъ“ и „публикаціи“.

Публикаціи въ то время такъ производились: раннимъ утромъ ходилъ по улицамъ своего околка „служивый-будочникъ“ съ барабаномъ и барабанилъ во всю.

Проходящіе и изъ домовъ посланные, выбѣжавъ на улицу, должны были его спрашивать: „служивый, о чемъ публикація?“ Онъ останавливался и собравшейся около него кучкѣ народа объяснял: такъ, молъ, и такъ, пропала корова, сбѣжала дворовая собака, или учиненъ покража такихъ-то вещей, а въ данномъ случаѣ сбѣжала, дескать, дворовая дѣвка помѣщицы, генеральши Богдановичъ, такихъ-то лѣтъ и примѣты, молъ, такія-то. Нерѣдко слушалась при этомъ и награда за указаніе и розыскъ.

Такимъ же порядкомъ оповѣщалось городское населеніе о предстоящихъ публичныхъ казняхъ и тѣлесныхъ наказаніяхъ.

Кормилицей моей была бабушкина „дворовая дѣвка“, деревенская красавица Ганя, или „Ганка“, которая передъ тѣмъ очень провинилась. Живя при своей матери коровницѣ въ „экономіи“, она родила незаконнаго ребенка и его, какъ мертвого, скрыла. Вѣроятно, сама-же удавила.

Властнымъ распоряженіемъ бабушки ее „покрыли“ т. е. не довели дѣла до полиціи, ни до суда (не лишаться-же дѣвки!) а „по домашнему“ — наказали.

Къ этому времени подоспѣло мое рожденіе и, какъ здоровую и рослую, ее опредѣлили мнѣ въ кормилицы.

Дѣло пошло очень ладно. Здоровое деревенское молоко питало меня на славу. На красавицу кормилицу, пышно разряженную, что твой павлинъ, на улицахъ прохожіе глядѣть останавливались.

По рассказамъ домашнихъ она полюбила меня, часто цѣловала и, баюкая, пѣла свои малороссійскія пѣсни.

Особенно любила пѣть:

Віють вітры, віють буйны,
Ажъ деревья гнутся.

И вдругъ, бросивъ меня на произволь судьбы, пропала.

По соображеніямъ домашнихъ, основаннымъ на кос-чемъ подслушанномъ Марфою Мартемьяновной въ дѣвчичьихъ, красавицу Ганю „сманилъ“ заѣзжіи грекъ (греками „парусниками“ въ то время кишѣлъ Николаевъ), и увезъ ее на своемъ суднѣ въ Константинополь.

Бѣдная Ганя, вотъ куда занесли ее „вітры буйны“.

Чего добраго продалъ ее алчный грекъ какому нибудь богатому турку въ гаремъ. . . А кто знаетъ, быть можетъ, самъ, плѣненный ея красотой, сдѣлалъ ее подругой своей жизни и стала она барыней.

Благодаря этимъ рассказамъ, влюбленный въ свою романтически-коварную „мамку“, я не раздѣлялъ злобнаго чувства окружающихъ и мое дѣтское воображеніе, на разные лады, надѣляло ее всѣми радостями міра, вплоть до представленія ее себѣ какой-то сказочной султаншей.

Позднѣ, когда мы лѣтомъ гостили въ деревнѣ у бабушки, я видѣлъ дряхлую старушенку, которая была еще при чемъ-то „при коровникѣ“.

Мнѣ сказали, что это мать Гани.

Старуха своей костлявой рукой погладила мою голову, назвала „миленькимъ паничкомъ“, а потомъ захныкала и, наконецъ, взвыла, приговаривая: „пропала, сгилба Ганя, дочка моя родна безсчастна!“

Я опрометью выбѣжалъ изъ коровника, куда забрелъ случайно, и пустился къ дому.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Всѣхъ менѣ меня баловала бабушка, Евфросинія Ивановна, хотя я чувствовалъ, что она любитъ насъ обоихъ, сестру и меня; да и самъ я, хотя сдержанно и почтительно, но любилъ ее.

Какъ обстояло дѣло, пока меня носили на рукахъ, не знаю: сама-ли она заходила къ намъ, или къ ней на показъ носили внука? Вѣрнѣе послѣднее, по крайней мѣрѣ съ тѣхъ цоръ, какъ я себя помнилъ, я ни разу не видѣлъ, чтобы она заходила къ намъ во флигель, а, между тѣмъ, мы видѣли ее аккуратно два раза въ день, утромъ и вечеромъ.

Обычно, этому предшествовала нѣкоторая процедура: сестрѣ одѣвали свѣжее платье, расчесывали „пушисто“ волосы и завязывали ихъ сзади лентой, „большимъ бантомъ“; меня также обдергивали, оглаживали и приводили въ порядокъ.

Въ хорошую погоду мы съ няней, Марѳой Мартемьяновной, чинно проходили дворомъ ширину воротъ, съ нашего крыльца на ея крыльцо; въ дурную-же погоду, въ морозъ или дождь, насъ укутывали „съ головой“ и кучерявый Степка или дюжій бакенбардистъ Ванька бѣгомъ переносилъ насъ разомъ, меня съ сестрой, въ „большой домъ“.

Здѣсь черезъ анфиладу парадныхъ комнатъ, казавшуюся мнѣ неимоვნю пространной и пустынной, мы чинно слѣдовали въ бабушкинъ будуаръ, гдѣ она всегда возсѣдала въ креслѣ на обычномъ мѣстѣ.

Какъ только мы сворачивали изъ столовой и попадали въ залъ, чтобы пересѣчь его и прослѣдовать двумя гостинными (большой и малой), намъ уже издали видна была бабушка, такъ какъ ея кресло стояло какъ разъ противъ раскрытыхъ дверей въ „парадные“ комнаты.

Строго говоря, каждый день мы видѣли двухъ бабушекъ. Одну пышную и важную барыню, съ коричневыми начесами и фигурной наколкой на головѣ, въ шелковомъ, шуршащемъ платьѣ, съ персидскою шалью на плечахъ; въ рукахъ она обязательно держала мягкій, цвѣтистый, фуляровый платокъ и миниатюрную золотую табакерку, съ ея вензелемъ въ гирляндѣ, на верхней крышкѣ.

Вечеромъ это была совсѣмъ другая бабушка, куда симпатичнѣе утренней, парадной. Совсѣмъ сѣденькая старушка, съ головой повязанной темнокоричневымъ „очипкомъ“, въ теплой домашней „душегрѣйкѣ“, отороченной сѣрымъ мѣхомъ, съ колѣнѣями, укрытыми мягкимъ пуховымъ одѣяльцемъ; въ рукахъ

у нея не было ни утренняго платка, ни шегольской табакерки. Взамѣнъ этого, на кругломъ столикѣ, стоявшемъ подлѣ самаго ея кресла, лежала большая серебряная, съ чернью, табакерка и огромныхъ размѣровъ полосатый носовой платокъ съ цвѣтными разводами, тутъ же лежала колода фигурныхъ картъ, разложенная „пасьянсомъ“ и большіе круглые очки, въ черепаховой оправѣ.

По утрамъ мы только прикладывались къ ея рукѣ, кос-о-чемъ она насъ спрашивала, опрашивала и Марюу Мартемьяновну, какъ мы себя вели и предательски интересовалась, не было ли у меня „насморкъ“ т. е., по просту: не ревѣлъ ли я наканунѣ, когда мама уѣзжала на вечеръ.

Всѣ въ домѣ знали, что я большой „плакса“, но, дипломатически, это именовалось „насморкомъ“. Если Марѳа Мартемьяновна бывала „въ духѣ“, то „покрывала“ меня и я-торжествовала, такъ какъ бабушка, погладивъ меня по головѣ, говорила, что я „умникъ“. Въ противномъ случаѣ, бабушка выразительно качала головой и что то строго наговаривала, чего я уже не слышала, такъ какъ „насморкъ“ предательски подступалъ мнѣ къ горлу, и насъ спѣшили увести.

Вечернія наши свиданія съ бабушкой бывали всегда и продолжительнѣе и много пріятнѣе.

Самый наружный видъ ея располагалъ къ интимности... Бѣлые, жидкіе волосики, выбившіеся изъ подъ „очипка“, ласково смягчали довольно рѣзкія черты ея лица; „душегрѣйка“, со своей мѣховой оторочкой, какъ то мягко облежала ея теперь вовсе не пышную, а старчески сухощавую фигуру.

И ритуаль нашихъ вечернихъ посѣщеній былъ совсѣмъ иной.

Марѳа Мартемьяновна, послѣ того, какъ доводила насъ до бабушкинаго будуара, низко ей поклонившись, не оставалась въ комнатѣ, а проходила дальше въ помѣщеніе Ѳеклы и Фіоны, двухъ бабушкиныхъ наперстницъ.

Сестра, которая была самоувѣреннѣе и побойчѣе меня, усаживалась непринужденно на скамеечку, стоящую въ ногахъ бабушки, брала ея сухощавую, съ голубыми жилками, руку и поглаживала ее, а я, обыкновенно, стоялъ вплотную у бабушкинаго кресла.

Матовый свѣтъ масляной лампы, стоявшей на столѣ, какъ то легко и тепло освѣщала всю негромоздкую фигуру „бабушки-старушки“ и я чувствовалъ къ ней несказанную нѣжность, выражавшуюся, впрочемъ, только тѣмъ, что я начиналъ учащеннѣе дышать и согѣть носомъ.

Тогда она сама протягивала ко мнѣ свою руку, которую я цѣловаль, а она нѣсколько разъ гладила мою щеку. Пока Марѳа Мартемьяновна оставалась въ гостяхъ у Ѳеклы и Фіоны, слышенъ былъ заглушенный говорокъ, который, восполняя вечерній уютъ, складнымъ полушопотомъ достигалъ до будуара бабушки.

Наконецъ, когда наступало время, въ комнатѣ появлялась Марѳа Мартемьяновна, а за нею, на порогъ бабушкиной спальни, показывались Ѳекла и Фіона, знаменуя своимъ появленіемъ конецъ нашего вечерняго визита бабушкѣ и начало приготовленій къ ея сну.

Въ отличіе отъ утренняго нашего разставанія съ бабушкой, дѣло не ограничивалось однимъ цѣлованіемъ ея руки; она сама цѣловала насъ, крестила каждога въ отдѣльности и отпускала съ миромъ.

Мы весело, иногда даже шумно, устремлялись обратно, по анфиладѣ слабо освѣщенныхъ комнатъ, прямо въ столовую, гдѣ насъ обыкновенно, какъ бы неожиданно (но мы знали это заранѣе) „перехватывала“ Надежда Павловна въ свою комнату, дверь которой выходила въ столовую.

То-то было веселья и радости!

Мы прекрасно знали, что насъ ждуть здѣсь и любимыя лакомства: изюмъ, рахатлукумъ, орѣхи, черносливъ... да еще мало-ли что! Но главное было, все таки, сама Надежда Павловна, всегда ласковая, привѣтливая, наша „баловница“, какъ прозвала ее Мартемьяновна.

Иногда, къ вящему восторгу нашему, мы заставляли у нея и нашу маму. Когда у нея не было гостей и она сама никуда не выѣзжала, она ходила по долгу засиживаться у Надежды Павловны, съ которой была дружна съ дѣтства.

Надежда Павловна Кирьязи осталась круглой сиротой послѣ скоропостижной смерти своего вдоваго отца, главноуправляющаго бабушкиными имѣніями, который славился своею честностью и не оставилъ никакого состоянія.

Сынъ его служилъ гдѣ-то офицеромъ въ арміи и бабушка высылала ему, отъ времени до времени, денежные пособія, а Надежда Павловна, дѣвушка далеко не первой молодости, осталась жить у бабушки и стала завѣдывать всѣмъ ея домашнимъ хозяйствомъ, зимою въ городѣ, а лѣтомъ въ деревнѣ, куда уже съ весны переселялась бабушка...

Это было очаровательное, незлобивое существо, вся въ самоотверженныхъ заботахъ о другихъ.

Небольшаго роста, сухощавая, подвижная брюнетка, съ легкою, преждевременною просѣдью въ гладко зачесанныхъ волосахъ, съ добрыми сѣрыми глазами, она, какъ домашній добрый геній, поспѣвала всюду, гдѣ могла быть полезной. Всѣ „дворовые“ дѣти (а ихъ было не мало), кошки, собаки и всяческая живность знали ее и спѣшили на ея зовъ, никогда не оставаясь въ накладѣ.

Злющій цѣпной песъ „Караимъ“, бѣгавшій на заднемъ дворѣ, съ блокомъ у цѣпи, по протянутой вдоль всей конюшни веревкѣ, радостно привѣтствовалъ ея появленіе, прыгалъ и кидался ей лапами на плечи. Она, нѣтъ, нѣтъ, и побалууетъ его то кускомъ мясного пирога, то жирною костью.

Часто, когда въ хорошую погоду меня выпускали гулять въ садъ, я „увязывался“ за Надеждою Павловною при хозяйственныхъ ея обходахъ и, подходя къ „Караиму“, держался крѣпко за ея юбку. Все обходилось благополучно и даже сослужило мнѣ большую службу въ будущемъ, когда я подростъ и когда конюшня стала предметомъ моихъ вождедѣній. „Караимъ“, со своими коротко обрѣзанными ушами, сливавшимися съ мохнатой, въ видѣ черной (караимской) шапки, густою шерстью на головѣ и со своей пестрой, словно татуированной, острой мордой, былъ уже весь въ моей власти.

У Надежды Павловны былъ свой собственный песикъ, „Нарцикъ“ (отъ Нарциса, вѣроятно); не то болонка, не то дворняжка въ видѣ свѣтло-оранжевой, волнистой муфточки на тонкихъ бѣлыхъ лапкахъ, подобранный еще щенкомъ на улицѣ.

Бабушка не любила собакъ въ комнатахъ. Въ „большомъ домѣ“ Нарцикъ былъ, отчасти, контрабандою и потому охотно прибѣгалъ къ намъ, во флигель, гдѣ ему не возбранялось ни громко лаять, ни носиться за нами кубаремъ по всѣмъ комнатамъ. У себя-же, т. е. въ комнатахъ Надежды Павловны, гдѣ онъ проводилъ вечера и ночи, Нарцикъ былъ совсѣмъ другимъ: лежа смиренненько на подушкѣ, у самой печки, онъ держалъ себя образцово и, даже при нашемъ появленіи, не вскакивалъ и радостно не лаялъ, а только подрыгивая хвостикомъ, любовно слѣдилъ за нами своими черными, круглыми глазками, не отрывая пушистой мордочки отъ подушки.

Мы засиживались у Надежды Павловны, пока не появлялась въ дверяхъ одна изъ бабушкиныхъ наперстницъ, Фекла или Фіона, — это означало, что бабушка въ постели и „требуется“ къ себѣ Надежду Павловну для своихъ хозяйственныхъ распоряженій на завтрашній день. Распоряженія эти давались обычно